



*Светлой памяти
Александра Петрушкина*

ГЛАВА I

Большее не имея сил в одиночестве переживать воспоминания прошедшей новогодней ночи, Прасковья натянула на гомункула куртку, шапку и рукавицы, сама оделась, и они спустились на улицу с четвертого этажа. Снаружи, впрочем, было не сказать чтолюдно. Только шел по тротуару, бодро постукивая тростью, слабовидящий молодой человек, совершенно пьяный, в яркой оранжевой куртке с отражателями. Но отражать было нечего — утренний свет равномерного картонного оттенка, как снег, лежал на домах и деревьях. В целом зимний город выглядел так, будто кто-то взял соляной карьер, замусорил его, воткнул сухой растительности, человеческих жилищ да так и бросил.

«День триффидов, честное слово», — подумала Прасковья, пристраиваясь на лавочку возле детской площадки. Гомункул, изображая ребенка, несколь-

ко раз скатился с горки — три раза вниз ногами, два раза вниз головой, — после чего принялся лепить снежки: бросал их в черных, как уголь, ворон и в серую, как британский кот, трансформаторную будку.

Вокруг лежало затоптанное конфетти, а еще ленты серпантина, почему-то в основном светло-голубого цвета, из-за чего казалось, что у сугробов проступили вены. Там и сям валялись коробки из-под салютов. Словно камыш, качались на ветру обгоревшие стебли использованных ракет. Разбросанные по двору бутылки походили на куски льда сильнее, чем сам лед.

Хрущевка, в которой жили Прасковья и гомункул, будто специально сделана была так, чтобы походить на рубку какого-нибудь ледокола, поэтому и выглядела органично только зимой, когда низкая невеселая облачность сплошь волоклась над головой или когда нежной красноты солнце выглядывало из-за горизонта, чтобы чуть подсветить город сбоку, а затем снова скрыться в морозном мраке.

Меж тем народу прибывало: воздух слегка растегнулся от звука, который Прасковья стала забывать, — это был треск открываемой примерзшей хлипкой деревянной двери. С кустов порхнули воробьи (удивительным образом они разлетелись и в разные стороны, и в некоем общем направлении). На балкон второго этажа вышел мужчина лет пятидесяти, его худая складчатая шея торчала из ворота толстой кофты. Мужчина облокотился на перила и оглядел окрестности. Миг — и только

что зевавший, сонный, он втянул большими ноздрями еще более огромный свежий воздух, неторопливо закурил, и лицо его наполнилось спокойной суровостью. Мужчина стал похож на капитана дальнего плавания, на вторую половину песни Юрия Визбора «Сергея Санин». При виде рваного табачного дыма, синего елочного шарика, что болтался на тополиной ветке рядом с лицом курильщика, Прасковья почувствовала, что постепенно приходит в себя. Поэтому сказала:

— Доброе утро! С наступившим! Как отпраздновали?

Когда мужчина сообразил, что это обращаются к нему, то с удовольствием отмахнулся от Прасковьи, дескать, «и не спрашивай!».

— Просто охренеть! — ответил курильщик после молчания в две затяжки длиной. — Бегал чё-то, чё-то носился весь год, чё-то все мутил, туда-сюда мотался, один раз даже в больничке весной полежал из-за всего этого, еще со своей грызлись, считай, весь вечер перед курантами. И вдруг бац — просыпаюсь сейчас. И...

Он показал, что вдыхает полной грудью.

— Как так? — недоуменно спросил он у Прасковьи.

— Пока часы двенадцать бьют, — объяснила она. — Может, у вас жена что-то такое загадала.

— Если бы она загадала и сбылось... — начал он с той доверительностью, какая бывает между почти незнакомыми людьми, однако продолжать не стал, а pokrивился, словно держал во рту батарейку «Кро-

на», затем понял, что все о себе говорит, спросил с хитрецей, и с участием, и с пониманием: — А чего вы оба в такую рань во двор вылезли? С братишкой заставили гулять?

— Ну это сын, — солгала Прасковья.

— Да ну? А тебе самой сколько?

— В этом году двадцать пять.

Балконный курильщик не стал спорить, не стал и комплименты развешивать, хотя да, Прасковья выглядела моложе, но видно было, что все же вычел семь или восемь из двадцати четырех и вздохнул не без сочувствия:

— Бывает, чё... Сама живешь, или родители помогают, или еще кто?

— Сама, — ответила Прасковья.

Если разобраться, то гомункул, что по-детски во-зился со снегом, был старше этого мужчины и его жены, вместе взятых, и настоящий возраст Прасковьи перекрывал и возраст вот этого вот мужчины на балконе, его родителей, дедушек и бабушек. Курильщик был перед ней все равно что младенец, а она ответила «сама» — и ощутила гордость оттого, что вся такая самостоятельная.

— А чем занимаешься, если не секрет? — спросил курильщик.

— Когда теургией, когда тауматургией, — за-просто ответила Прасковья.

Конечно, особенности уральского произноше-ния, расстояние между Прасковьей и соседом и ве-тер сделали свое дело.

— Драматургией? Это как? Пьесы, что ли, пишешь, как Коляда? — не расслышал курильщик, чиркая зажигалкой в промежутке между вопросительными знаками. — А ты не в двадцать пятой, случайно, живешь?

Прасковья кивнула.

— Ой, ну слушай, до чего странная квартира! — воскликнул сосед. — Там постоянно молодая мать с каким-нибудь ребенком жилье снимает. Уже года три. Раз в несколько месяцев меняются. И не то странно, что всегда вот так, а то, что никогда переезда-то и нет. У нас это заметно как нигде: лестница узкая, не развернешься, поэтому, если начинают таскать шкафы, холодильники, пианино, — считай, всё, приходится штукатурку спиной обтирать, чтобы на улицу выйти. А тут ни разу, прикинь, НИ РАЗУ не попадали, чтобы такое беспокойство. Там с мебелью хозяин сдает? Это убежище какое-то от семейного насилия или что? Ты вот надолго к нам?

«Палево», — юмористически подумала Прасковья и вспомнила, что давненько не маскировалась от соседей по подъезду, потому что особой нужды в этом не было: почти все они не являлись собственниками — выныривали из сумрака грузовых «газелей», вносили вещи в дом, какое-то время попадались на лестнице, в ближайших продуктовых, на улице, а затем снова возле подъезда стояла «газель», внутрь нее заносили коробки, торшер, невероятно чистую микроволновую печь, детали шкафа, стола, табуреты, телевизор, холодильник —

машина уезжала и увозила бывших соседей в неизвестность.

В течение сорока с лишним лет Прасковья могла наблюдать, как люди заезжают в дом и съезжают из дома, где она жила, как ссорятся и мирятся, знакомятся и расстаются, даже немного участвовала во всем этом.

Труднее всего пришлось в восьмидесятые и девяностые, потому что гомункул то и дело тащил с улицы временных друзей и сам ходил в гости: возникали невольные ненужные знакомства. После перестройки стало гораздо спокойнее, а вот годы советской власти запомнились Прасковье сущим кошмаром, который полнился непрерывным общением. Взять те же весенние и осенние субботники — их нельзя было игнорировать, чтобы казаться хоть сколько-то нормальной. Или стояние в очередях, когда приходилось отвечать на вопросы, где она работает, как справляется с ребенком, как все успевает, в какой школе и каком классе учится ее ребенок. Или тогдашний обычай их тихого городка не запира́ться днем (в кражах не было смысла: перетаскивание из дома в дом спичек, прищепок, турки, кастрюль, емкостей для специй без специй таило в себе больше логистики, чем воровства). Период, пока моноколор еще не сменился триколором, вспоминался тем, что в квартиру, пару раз стукнув, мог войти кто угодно с каким угодно вопросом и просьбой. И ладно люди. Сколько чужих кошек заглядывало на огонек — и не пересчитать, а однажды, ошибив-

шись этажом, пришел к Прасковье на кухню эрдельтерьер.

...Между тем сосед — балконный курильщик — не сказать чтобы ждал, но не был против ответов на свои большей частью риторические вопросы, и тут выручил гомункул — прекратил игру в снежки, запрокинул голову и похвастался:

— Мы в феврале хотим переехать. В центр.

Гомункул так забавно картавил, что и Прасковья умилилась. Что до соседа, тот и вовсе растаял и охотно переключил внимание с Прасковьи.

— Да ну?! — воскликнул сосед с удовольствием. — А здесь плохо?

— Здесь хорошей музыкальной школы нет.

— А... — принялся было сосед, но тут его уволокли в дом.

Впрочем, в его компании теперь не было нужды. Справа уже выгуливали кокер-спаниеля с бомбошками снега на животе, лапах и ушах, слева подъехал мусоровоз цвета оранжевой астры, покрытой пылью, с приятным пневматическим шумом принялся шевелить поршнями. Неторопливый человек подсовывал машине, один за другим, зеленые контейнеры с подарочными упаковками, бутылками из-под шампанского. Все это поглощалось мусоровозом с сотрясанием воздуха, звоном, шелестением, блеском. Как только мусоровоз уехал, пошли до лесопарка лыжники в ярких, будто фломастерами раскрашенных костюмах. Еще не пристегнув к себе ни одной лыжи, лыжники все равно шагали одной общей

скользящей походкой, уже охваченные грядущим полетом по лыжне.

Холодный воздух слегка покачивался туда-сюда вроде воды, которую пытаются не расплескать, когда тащат в ведре или кастрюле. Нежно выдыхая газовый пар, прокралось по следам мусоровоза такси, такое чистое, что даже глянцевое. Из городской пустоты возникла усталая компания, чтобы молча проследовать мимо гомункула и Прасковьи, скрыться из виду; люди держались так близко друг к другу, что казались единым существом. «Пилигримы», — вспомнилось Прасковье слово. Она долго смотрела в ту сторону, куда ушли люди, хоть и телефон давно достала из кармана, намереваясь проверить поздравления и эсэмэс, еще позвонить своему Саше, с ним предстояло расставание в середине февраля не потому, что все было сложно, а в силу особенностей самой Прасковьи.

Потыкав пальцем в различные части древовидной трещины на экране, Прасковья разблокировала телефон и подождала, пока приложения, замирая, подвешивая сами себя и своих соседей, отзовутся на включение. Затем в страшных муках родились, одна за одной, иконки на рабочем столе, и можно было звонить.

Прасковья разбудила Сашу, но он сказал, что нет, что давно уже встал. Тут же зевнул и стал чесаться во всяких местах, принялся ходить по квартире, закурил, поставил чайник, не прекращая отвечать на вопросы, как все прошло, было ли весело, как ему Надя. После каждого вопроса обдумывал ответ,

то ли подозревая ревность, то ли отвлекаясь на телевизор и музыку из умной колонки. Кажется, у них с Прасковьей уже все было не очень, потому что он продолжил разговор сначала пенным ртом, набитым зубной пастой, затем застучал клавишами ноутбука: видимо, узнавал между делом, насколько изменилась в новогоднюю ночь политическая обстановка в стране и мире.

— Ну а Наташа тебе как? — спросила Прасковья. — Давно хотела вас познакомить. Это вот еще одна моя лучшая подруга.

— Не было там такой, кажется, — ответил Саша. — Это которая с Эдиком? Тогда норм. Удивительно стойкая девушка. Вообще, ты зря не пошла, там и дети были, было бы мелкому чем заняться.

— Нет. Наташа такая же, как я. Тоже разведенка.

— Тогда не было. Там, считай, три пары, с ними всякая мелкота, а еще, считай, Надя. Всё. Собаки Надины. Дед Мороз. Местная знаменитость какая-то, вроде блогер или инстаграмщик, но тоже мужик.

— Ага, — неопределенно ответила Прасковья на все это, бросила трубку и почувствовала, что раздваивается.

С одной стороны, она думала, что беспокоиться не о чем. Как правило, потеряшки находились живыми и здоровыми, и не только люди. Дошло до того, что в городе и звери почти не исчезали безвозвратно.

С другой — она позвонила Наташе, и оказалось, что ее телефон выключен или находится вне зоны действия сети.